



ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССОРОМ УЛЬРИХОМ БЕКОМ

— На классический вопрос «Что такое социология?» отвечают по-разному. Как бы Вы могли ответить на него?

— Для меня основная задача социологии — это теоретически направляемый и историко-эмпирически обоснованный диагноз времени. Что я понимаю под этим, можно, наверно, ограничить с двух сторон, как это делал Райт Миллс. С одной стороны, в отношении проблематической «большой теории», с другой, — в отношении «бездушного эмпиризма» в современной социологии. Макс Вебер называл это «вечной юностью» социальных наук. Он вполне определенно говорил: «Есть науки, вечная юность которых предрешена, и это все исторические дисциплины, все те, которые вечно прогрессирующий поток культуры постоянно ведет к новой проблематизации». Ему было ясно, что когда-нибудь Европа или даже, возможно, мир погрузится в атмосферу новых культурных проблем, что Европа, так сказать, изменит цвета. Я думаю даже, что это уже произошло, и поэтому социология должна понятийно перевооружиться.

— Чем, по Вашему мнению, является современная социология на повороте от XX к XXI столетию?

— Социология в начале третьего тысячелетия стоит перед серьезной проблемой. Несмотря на многообразие глубоко разработанных теоретических парадигм и эмпирических методов, она понятийно и организационно застыла, увековечив себя в одной определенной картине современного общества. Точнее, с радикализацией современности институциональные и понятийные основы последней становятся спорными. Развал восточно-западного порядка не только до основания потряс социальную и политическую систему старого национального государства — он также радикально сдвинул границы западной современности. «Западный рационализм»

современности расширяется на Восток и покрывает весь земной шар своими формами жизни и производства. Однако по мере того, как Запад глобализуется, он сталкивается в «едином мире» лишь с самим собой. Эта новая ступень «рефлексивной модернизации», в которой последовавшие в результате успеха Первого модерна проблемы упраздняют его основы, должна стать в начале третьего тысячелетия новой темой социологии, даже социальных наук. В центре находится утверждение, что *успешная модернизация мира создает ряд проблем глобального характера, что она не только расшатывает основы западной модернизации, но и по сути открывает новое политическое измерение. Повсеместная победа западных форм жизни и хозяйства как раз и ведет к драматическому «возвращению» старых проблем: старым национальным государствам вновь приходится бороться с кризисом, который, как им казалось, они давно сумели решить с их удивительно успешным смещением рыночного хозяйства, демократии, правового и социального государства. Ресурсы государства исчезают: дезинтеграция и неравенство подтачивают определенность будущего и ослабляют доверие в триединство нации, капитализма и демократии.*

— *Почему Вы выбрали социологию в качестве профессии?*

— Меня с самого начала покорило ремесло социолога — конструировать, чтобы понять исторические изменения.

— *Где Вы изучали социологию и когда закончили обучение?*

— Сначала я учился во Фрайбурге, затем в Мюнхене. Там в 1972 г. защитил первую диссертацию (Promotion), а в 1979 г. вторую диссертацию (Habilitation).

— *Что Вы изучали во время обучения социологии: больше теорию, историю, методы и др.?*

— Я специализировался по философии, социологии, политическим наукам и психологии. Эмпирия была для меня само собой разумеющейся. Я очень любознательный человек. Жажда нового — это, вероятно, одна из движущих сил социологического воображения. Но меня также всегда интересовала теория и в особенности теоретическая история социальных наук, своего рода разновидность социолого-социологической рефлексии: как возможно, что поколения, эпохи мыслят и действуют в замкнутом пространстве определенных теоретических конструкций и несмотря на всю науку не в состоянии распахнуть окно, а тем более дверь, чтобы выйти. Этот по сути научно-социологический вопрос рефлексивной социологии был для меня с самого начала очень важным.

— *Итак, каким образом повлияло социологическое образование на Вашу дальнейшую карьеру?*

— После habilitation, многих лет исследований в области труда, профессий и образования, я получил одновременно ряд приглашений занять кафедру в разных университетах. Следовательно, я сделал нормальную академическую карьеру.

— *Что было и является в настоящее время предметом Ваших научных исследований?*

— Моя первая докторская работа была написана о споре по поводу ценностных суждений в немецкой и американской социологии. Речь идет о сравнительном ана-

лизе, в котором я сопоставил преимущественно научно-теоретические дебаты в Германии, так называемый «спор о позитивизме», с социолого-социологическими дебатами в Америке вокруг Элвина Гоулднера, Говарда Беккера и многих других. После этого я занимался в большом теоретико-эмпирическом центре социологии профессий. Это и есть та база, которая дала возможность написать докторскую работу (хабилитацию). Сегодня я занимаюсь вопросами, к которым я прежде уже обращался: чтобы не сказать диалектика, но ирония истории современности состоит в парадоксальном ограничении двух противоположно направленных тенденций развития. Конец противостояния Востока и Запада, символизированный падением Берлинской стены, предоставил национальному государству его старое право лишь по видимости. Но одновременно, и это важно, революция 1998 года открыла шлюзы для потока глобализации, который подмыл недавно укрепленный фундамент национального государства и вновь сделал актуальными вопросы, которые многие уже давно считали разрешенными. Для меня они составляют вызов Второго модерна, для которого мы должны перевооружить наш социологический понятийный аппарат.

— Что Вы понимаете под теорией Второго модерна? Не могли бы Вы резюмировать историю этой теории: что побудило Вас так радикально социально-философски и социологически переосмыслить современность? Что является ядром этой теории? К каким результатам Вы пришли в развитии теории Второго модерна?

— Начало было положено давно. Уже в студенческое время мне казалось непонятным, даже противоречивым, что наука, которая проповедует и анализирует изменения, исходит из принципиально константных рамок перемен, которые коренятся в опыте XIX столетия. Я рано применил социологию против социологии и принял допущение: уже описанное Максом Вебером прогрессирующее расколдовывание мира охватывает даже основы Первого индустриально-общественного, национально-государственного модерна и ставит под вопрос те моменты, которые долгое время понимались как «естественный» базис и само собой разумеющаяся составная часть модерна. Это приводит, следовательно, к «расколдовыванию расколдовывателя», расколдовыванию социологии.

Если же говорить конкретно, нет никакого основания возвеличивать общественные структуры процветающего послевоенного порядка в Европе и абсолютизировать их как конечное состояние истории (общества). Под Первым модерном я понимаю в этом смысле, во-первых, отождествление общества с национальным государством, следовательно, контейнерную модель национально-государственно организованного общества; во-вторых, идеал нормального общества полной занятости, следовательно, нормальных трудовых отношений со стандартизированными трудовыми биографиями; в-третьих, укорененные в классовых культурах массовые партии; в-четвертых, небольшие семьи с традиционным разделением труда между мужчинами и женщинами; но также ясные границы между природой и обществом, между нами и другими, жизнью и смертью, знанием и незнанием. Все это базовые допущения, которые сегодня пришли в движение. Я руководил исследовательским центром в Мюнхене по этой теме, и даже нас удивляло, как мы могли разрабатывать такие гетерогенные области действия и системы, в некотором роде «метаиз-

менения», т. е. изменения рамок системы и основ социальных изменений. От областей науки и техники, жизненных миров и социальных структур до экономики и государства наши исследования показывают новейшие формы смешивающего границы «как, так и» («Sowohl-als-Auch»), признанной множественности и амбивалентности, ставящих под вопрос основанные на ясных границах и порядках базисные институты Первого модерна. Для акторов и организаций это означает значительную турбулентность и проблемы принятия решений, так как нет никаких проверенных способов разработки и опыта решений.

Различение Первого и Второго модерна предполагает, конечно, что есть несколько модернов, предполагает общность современности (Modernität). В наших исследованиях в этом смысле продуктивным оказалось различие между базисными принципами современности – например, государственности – и базисными институтами Первого и Второго модерна – например, национального государства в Первом, этнического государства, транснационального государства или космополитического государства во Втором модерне.

– Это интересное различие. Какое значение имеет плюрализация форм государства для вопроса о международных отношениях и международной безопасности?

– Вера и надежда многих политологов рано получила концептуальное выражение в том, что тип обособленного национального государства может пониматься как универсальный именно тогда, когда в системе обособленных государств противоречия, если уж не могут быть разрешены, то хотя бы исторически смягчены. Роль теоретиков международных отношений состояла в том, чтобы нам об этом напомнить. Конечно, вопросы, как различные типы государств, не только исторически недолговременно, но и длительно могут существовать рядом или друг против друга, как, следовательно, выглядит мир, и как он может удержаться в равновесии, в котором образцовая монополия национального государства более не действенна, в котором *плюрализация* мира государств привела к одной «системе» противоречащих государственных конституций – эти вопросы метаизменения государственности ни разу не были поставлены, их скорее замалчивали, чем отвечали на них. Что касается межгосударственных отношений, то между национально-государственным Первым и плюралистическим Вторым модерном есть существенное различие. В то время как в Первом модерне предполагалась принципиальная гомогенность глобально действующего образца «национального государства», государственность Второго модерна дифференцируется, и это должно быть урегулировано взаимным антагонизмом противоположных государственных форм и конституций, в котором, например, этнические и космополитические государства приходят к полностью другим представлениям и оценкам границ, суверенитета, прав человека и связанных с ними международных норм и интерпретаций.

– Что понимается под этими условиями суверенитета?

– Фактически «национальный суверенитет» никогда не понимался как «или-или», или универсализм, или партикуляризм, но почти всегда как тождественная самой себе, исторически сверхстабильная, следовательно, непреодолимая формула компромисса, в которой партикуляризм пишется с большой и универсализм –

с маленькой буквы. При этом недооценивается то, что эта национальная маргинализация космополитической точки зрения основывается на определенных исторических предпосылках и становится радикально нестабильной в условиях метаизменений. Впрочем, было бы полностью ошибочным допустить, что все государства и, соответственно, все народы имеют равные возможности выбирать между неравноценными альтернативами государственности во Втором модерне. Напротив, решающим будет систематическое обсуждение вопроса о конфликтах шансов: как возможно, с одной стороны, заключение союзов государств, которые открывают космополитические перспективы, с другой – создание коалиций со стратегиями капитала, которые вновь должны быть укрощены в космополитическом государстве? Как возможно этнизировать государство, но одновременно оставаться пригодным к мировому рынку, если этнический протекционизм благодаря акторам глобального гражданского общества публично разоблачается на весь мир? Как возможно добиться политической поддержки в мировой борьбе за открытое миру законодательство, если благодаря этому глобальное неравенство делегитимируется?

– Не обнаруживается ли здесь отношение напряженности между США и Европой в начале XXI века?

– В действительности, напряженность между США и Европой проявляется сегодня, например, в вопросе охраны природы, а также в учреждении мирового суда. В обоих случаях Европа представляет скорее космополитическую позицию, следовательно, это политика, которая хочет проложить путь космополитическим режимам, в то время как позиция США состоит в модели гегемониального национального государства. Если в Первом модерне нестабильность межгосударственной системы лежала в анархии национальных государств, отношения которых могли быть урегулированы лишь благодаря гомогенной конституции государственности, то во Втором модерне на место «анархии равных» приходит «анархия неравных государственных конституций», которую намного труднее укротить.

Другими словами, в сфере государственности осуществляется то, что мы уже демонстрировали в других областях социальных наук. На место модели «нормальной семьи» пришла признанная плюрализация форм семейной жизни, на место образцовой монополии «нормальной работы» – (еще оспариваемая) плюрализация форм занятости. Как можно безусловно гарантировать стабильность и безопасность в мире плюральной государственности, остается полностью открытой проблемой.

– Теория Второго модерна тем самым сталкивается с проблемой различия между Вторым модерном, модерностью (*Modernität*) и постмодерностью.

– Вы правы, это очень сложные, но важные вопросы. Они направлены на формы проявления нового – в эпоху, которая написала «новое» на своих знаменах. Спрашивается, – и это ключевая проблема, – как может быть описан новый бесструктурный Второй модерн. Как неоднократно было показано, старые структуры (базисные институты) не просто незаменимо разрушаются и даже согласно принципу «или-или» заменяются. Это было бы так, если бы существовал «чистый тип» нового, если при этом он сам не попадал в апорию однозначности. Но наши последние исследования показали, что новое само должно мыслиться по принципу «как,

так и», поскольку оно не выступает в «чистой» форме, но в множестве разнообразных конфигураций.

Однако тем самым обостряется Ваш вопрос, как может отличаться Второй модерн от постмодерна. Позвольте мне подчеркнуть еще одно базисное различие, а именно, отличие от общества и природы. Фигура полного разрушения границ привнесена в дискуссию постмодернистскими авторами Брюно Латуром и Донной Харравэй (D. Harraway) не только как описание феноменов гибридизации, но и как нормативное предложение. Лишь признание гибридных квазиобъектов, согласно Латуре, делает возможным их регулирование и контроль. Против этого «онтологического монизма» как в его дескриптивном, так и в нормативном варианте можно привести ряд возражений. Для меня прежде всего значимо социологическое возражение: полное размывание категориальных основных различий, например различия между природой и обществом в их разных, специфичных по сфере, проявлениях потому невозможно, что после этого не может быть и речи ни о какой ответственности. Люди были бы тогда ответственны за все явления этого мира или вообще ни за что. Другими словами, даже если разделять позицию онтологического монизма, осталась бы общественная необходимость разделить мир на сферы человеческой компетенции. Это функциональное требование обозначить границы, — даже если они еще фиктивны, — чтобы суметь вообще принимать решения, есть социологическое белое пятно постмодерна.

Вы полностью правы: что значит или должна значить «модерность» в настоящем и будущем, представляется в различных точках зрения и в опыте нашего мира очень по-разному. Это будет и должно оспариваться в конфронтации западноевропейского и восточноевропейского опыта, в столкновении периферии и центра, азиатского, африканского, южноамериканского и североамериканского опыта модернизации и проектов модерна. В этом смысле теория Второго модерна направлена на радикальную самокритику нынешнего этно- и евроцентризма западной теории модернизации и социологии. Поэтому открывается пространство для глобального столкновения по поводу целей, ценностей, предпосылок и путей альтернативных модерностей.

Мы, следовательно, переживаем — и это так захватывает меня — смену общественных и социально-научных парадигм внутри модерна, который принуждает нас к развитию новых понятий, а также новых общественных и политических институтов, к поиску подобающих ответов на эти вызовы. И именно «постмодерн» не справляется с этим, при этом теории и теоретики постмодерна бросают нас на произвол судьбы. Да, постмодерн парализует — как сказал Гегель — даже необходимое напряжение понятий и исследований для определения нового глобального положения. Он остается аисторичным и закольцованным в самом себе. Теория Второго модерна делает вопреки этому возможной неностальгическую критику общественно-индустриального национально-государственного модерна под углом зрения будущего.

—Согласно Вашей теории, «общество риска» является частью Второго модерна. Что характерно для общества риска?

—Для меня одна из основных черт «общества риска» состоит в том, что границы между исчисляемым риском и неисчисляемой неопределенностью (небезопасностью), между «объективным» анализом риска и социальным восприятием риска очень неясны. Это имеет многообразные последствия:

– Опасность представляет «разрушительная сила войны» (как я писал в 1986 г.). Язык опасности заразен: социальная нужда иерархична, новая опасность, напротив, демократична. Она поражает богатых и властных. Потрясения затрагивают все области. Рынки разрушаются, правовые системы не охватывают состава преступлений, правительствам предъявляют обвинения и они одновременно получают новые шансы действовать.

– Мы станем членами одной «команды мировой опасности». Опасность уже не столько внутреннее дело страны ее происхождения, и страна не может бороться с опасностями в одиночку. Возникает новая «внутренняя политика».

– Как раз в этом и заключается прогресс науки, который подрывает роль экспертов. Науки и их технологии визуализации фундаментальным образом поставили под вопрос принцип: «Я не вижу никакого риска, следовательно, никакого риска нет». Наука не уменьшает риск, но обостряет сознание риска.

– Страх определяет чувство жизни. Ценность безопасности вытесняет ценность равенства. Это ведет к усилению закона, к видимому разумному «тоталитаризму защиты от опасности».

– «Экономика страха» обогащается во всеобщем разрушении нервов. Недоверчивый и подозрительный гражданин должен быть благодарен, что его сканируют, копируют, обыскивают и допрашивают для «его же безопасности». Безопасность, подобно воде или электричеству, становится одним из общественно организованных потребительских благ.

Многие из этих структурных черт общества риска выглядят сегодня как описание мира после 11 сентября 2001 г., после террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

– Вы ставите вопрос, как возможно политическое оформление сегодняшнего общества. Почему Вы выделяете именно политическое? Можно ведь также спросить, как возможно культурное, психологическое или религиозное оформление общества – не натолкнемся ли мы на те же самые границы, как и в случае политического? Занимает ли политика все еще высокое положение, если все очевиднее, что политическое является довеском экономических (властных) интересов концернов, что ни один политик не может и не умеет свободно и независимо принимать решения?

– Именно этим вопросам посвящена моя новая книга «Власть и противовласть в глобальный век – новая мирополитическая экономия». Я выбрал девизом книги лозунг одного демонстранта: «Те, кого мы выбрали, не имеют власти. А тех, кто имеет власть, мы не выбрали».

Мы живем в высокополитическое время, так как основы и основные формы легитимного господства изменяются. Мы верим, что знаем, и все же знаем, что мы не знаем, о чем мы говорим, когда произносим слова «политика» и «государство». Однако политика совершенно точно имеет место в парламенте, в правительстве, в политических партиях, в избирательной борьбе. Но не эти ли продуманные ответы на все вопросы об основах легитимного господства мешают нам понять язык глобальной борьбы за власть, которая сотрясает мир?

Мы еще тешим себя надеждой, что мы знаем, в какие инстанции мы должны обращаться и апеллировать, чтобы проблемы общего благосостояния были нако-

нец рассмотрены и разрешены. Но затем мы читаем в газетах про экономику, про то, что потоки капитала текут туда и сюда, согласно правилам мирового рынка, который, как известно, свободно пересекает все государственные контрольные и налоговые преграды. Экспорт рабочих мест, динамичное размещение производства, потоки информации, глобальные символические миры, наднациональные организации (Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский Союз) глобоко пронизывают всю нашу жизнь.

Нельзя более закрывать глаза на то, что, возможно, «глобальные экологические кризисы» или «международная политическая экономия» — ключевая проблема, которую обсуждают эксперты — определяет повестку дня политики здесь и сейчас. Если послушать кристов, создается полное впечатление, что не только государства создают законы и говорят о праве. Локальные группы активистов действуют глобально, глобальные концерны умеют вести речь локально, одновременно уклоняясь от своих легальных обязанностей — платить производственные налоги. Военными интервенциями в чужие государства угрожают и угрозы исполняют со ссылкой на права человека. И последний пример — универсализация подозрения в терроризме склоняет даже демократические военные силы и государства к тому, чтобы самовольно получить всеобщую лицензию на охоту на террористов. Но что значит в этих условиях размытых и смешанных границ и различий «легитимное господство»?

Иными словами, политическое во Втором, глобальном модерне не вымерло, а эмигрировало. На наших глазах, нашими руками осуществляется смена понятий и форм политического, для восприятия и исследования которой пока отсутствуют исторически проверенные категории и формы мировоззрения. Структура шансов политического прорывается сквозь дуализм национального и интернационального и размещается в «глокальном» пространстве. Мировая политика стала мировой внутренней политикой, захватившей у национальной политики границы и основы. Новое именно в том, что стратегии капитала поставили государства под давление и в цугцванг. С самого начала политическая экономия действует исходя из этого. Но как она это делает? И как мировая политическая экономическая власть обслуживает не столько старую империалистическую логику вступления, сколько угрозу прекращения инвестиций и потому празднует триумф над закосневшей во внутренних связях политикой? Мировые экономические акторы принципиально не сильнее государств. Но они раньше освободились от ограниченности национальной ортодоксии: это и есть новое.

— Но все говорят о конце политики. Как Вы это объясняете?

— Кто ожидает возврата политического в понятии и форме национального государства, будет последовательным образом соглашаться со стенаниями о конце политики. Одна из основных ошибок национального взгляда состоит в том, что эта большая часть политической теории и политической науки становится слепой по отношению к смене форм политического во Втором модерне. Так, будет ошибочной политическая рефлексивность открытым будущему общества и истории: основной опыт историчности, двойная контингенция, изменение в открытом будущем иного рода общества, государственности и политики.

Социальные науки видят себя востребованными в их основном понимании общества, политики и истории. В Первом модерне сформировался «методологический национализм». Это значит, что общества организованы в общепринятом понимании национально-государственно. Государство считается творцом, контролером, гарантом общества. Общества мыслятся как получатели, которые возникают и существуют в пространстве власти государства. Это отождествление обществ с национально-государственными обществами глубоко укоренено в понимании социологии, ее понятиях, ее способе видения, можно сказать, в социологическом воображении. Национальное государство стало оболочкой восприятия социологии. Но именно это и спорно. Я не думаю, что национальное государство излишне. Я, напротив, полагаю, что национальный взгляд социальных и политических акторов не сможет социально-научно удвоиться, так как тем самым из поля зрения исчезает то, как растворяются и вновь смешиваются границы внутренней и внешней политики, между сферами «национального» и «интернационального». Как раз это и стало очевидным после терактов 11 сентября 2001 г. Национальная безопасность в эпоху всеобщего риска не является больше национальной безопасностью – это следует помнить ввиду глобально воспринятой террористической угрозы. Конечно, всегда были альянсы. Решающее различие состоит в том, что сегодня глобальные альянсы необходимы не только для внешней, но и для внутренней безопасности. Раньше действовал один принцип: внешняя политика есть вопрос выбора, а не необходимости. Сегодня, напротив, господствует нового рода «как, так и»: внешняя и внутренняя политика, национальная безопасность и международное сотрудничество непосредственно связаны. Единственный путь национальной безопасности ввиду угрозы глобализуемого террора (а также финансового риска, экологических катастроф, организованной преступности) – транснациональная кооперация. Наступило парадоксальное положение: государства должны исходя из национальных интересов денационализироваться и транснационализироваться, следовательно, отдать часть своей автономии, чтобы в глобализованном мире решить национальные проблемы. На мой взгляд, в долгосрочной перспективе есть один путь, чтобы должным образом ответить на эти вызовы: обязательные международные договоры и конвенции. Если в 70-е годы последнего столетия действовала формула «make love not war», в начале XXI столетия должна действовать формула «make law not war!»

– Не могли бы Вы уточнить, какую роль может играть во Втором, рефлексивном модерне политический раскол между левыми и правыми? Есть ли это нечто замещающее в будущем, или речь идет лишь о пережитке прошлого, о том, что устарело?

– Согласно моему предположению и как я показываю в моей книге, в действительности идет процесс плюрализации левого и правого. Исходный пункт – политический парадокс глобализации, который состоит в том, что прежде всего и в основном новые космополитические динамики конфликта могут разрабатываться только в национальных рамках и в национальных политических процессах. Определение путей развития, которое необходимо, чтобы, например, освоить транснациональные стратегии государства и его властные шансы, должно проводиться и доводиться до конца прежде всего внутри установившегося спектра партий и внутри существующих правительств или, соответственно, правящих союзов. Лишь по-

том и в той мере, в которой становится публично очевидным и признанным, что этот образец учрежденных политических организаций ввиду вызовов Второго модерна терпит поражение, могла бы начаться борьба за эксплицитно новые партии. Но так как именно национальный взгляд преобладает, следует исходить из того, что, как уже сказано, дело идет к плюрализации лево-правой поляризации. Я бы хотел пояснить это на примере плюрализации левых: речь идет о противопоставлении — говоря идеально типически — между протекционистскими, неолиберальными цитадельными и космополитическими левыми. Протекционистские левые защищают национально-государственную модель политики, прежде всего считая, что это необходимая предпосылка для двух основных достижений Первого европейского модерна, а именно парламентской демократии и государства благосостояния. В этой вере в национальное государство встречаются такие противоположные позиции, как, например, социал-демократические защитники государства благосостояния, коммунисты и защитники окружающей среды. Но эта позиция пользовалась авторитетом и большой симпатией у послевоенного поколения политологов, так как в их вере в это национальное государство было научно социализировано неразделимое единство нации, демократии и социальной безопасности как противоядие против тоталитаризма.

Неолиберальные левые допускают, и очень серьезно, вызовы глобализации, которые протекционистскими левыми как бы заранее отрицаются. Здесь складывается новый синтез между национальным государством и мировым рынком, который в форме политической программы «третьего пути» был сформулирован в особенности новыми лейбористами (New Labour). Говоря словами Энтони Гидденса, речь идет о новых «рамках для размышлений и политических формулировок, которые социал-демократия пытается приспособить к миру, принципиально изменившемуся в течение прошедших трех десятилетий». Это требование выполняется, в частности, благодаря двум программным изменениям: с одной стороны, в форме новой концептуализации понятия общности, нации и государственного гражданства в глобализующемся мире, с другой — в попытке форсировать интернационализацию национального государства благодаря интеграции последнего в мироэкономические связи и наднациональные организации.

Политическая программа транснациональных цитадельных левых еще менее ясно очерчена. Но она проявляется там, где в создании и перестройке Европы принцип социальной государственности более или менее принудительно связывается с ограничением по отношению к культурно другим (политика миграции) в возведении «крепости Европа». Космополитические левые выступают и борются за утверждение космополитического взгляда внутри национально-государственного контекста действия. Здесь на место национально-государственной веры вступает вера в космополитические возможности расширения демократии, на место национальной общности — представление о космополитическом образовании идентичности и сетей. В центре стоят программные цели другой глобализации, следствием которой является двойной конфликт: с одной стороны, против гегемонии неолиберальных политических идей, с другой — против правопопулистских и ксенофобных антиглобалистских движений и партий. Это выражается в том, что в экономике, например, выступают за налог Тобина (Tobin-Steuer), в культуре — за действие прав человека. Наднациональные организации должны программно и политически де-

мократизироваться. Подлинными стремлениями являются тематизация глобальных неравенств по ту сторону национального взгляда, как и связанный с ней вопрос «глобальной справедливости», буквально выраженные в мирохозяйственно-политических и в относящихся к политике приоритетах и программах.

– А разве уже существуют космополитические левые в качестве партийных групп?

Едва ли. Но есть институционализированные космополитические акторы, такие, как Международный суд, ООН, Европейская комиссия, множество НКО и т. д. Сила космополитического движения зависит в значительной мере от того, насколько удастся создать условия для политической работы альянса между Севером и Югом – вызов, который поднимает вопрос не только о значительных помехах транскультурного общения и координации, но и включает вопрос об инициативе в мирополитических дебатах. Если мир социальных неравенств и демократических институтов формируется более не в национальной, но в космополитической перспективе и должен привести к образованию соответствующих транснациональных сетей организаций и действий, противоречия мира проявляются *внутри* политических движений. Нет больше «больших» ответов, но есть попытки создать политику из «*между тем*», «*как здесь, так и там*». Космополитический взгляд делегитимирует глобальные неравенства – в этом сильный источник конфликтов. Космополитические левые последовательно принимают участие в амбивалентных мировых отношениях. Образцом служит властно-созидательное регулирование и оформление многообразия и различий на основе их признания, которое вопреки фундаменталистам новых однозначностей приобретает свои очертания и свое очарование. Для новых космополитических левых, следовательно, характерно, что они, соединенные внахлестку в политических партиях и транснациональных союзах разнообразных гражданских движений и группировок, формируются программно и организационно, невзирая на границы.

Можно ли сказать, что в этом расколе левых отражаются новые классовые противоположности? Или понятие классов для конфликтной динамики Второго модерна более неприменимо?

Действительно, мы в нашей исследовательской группе работаем с предположением, что глобализация ведет к новой конфликтной динамике выигравших и проигравших от глобализации в национальном политическом пространстве. Многого говорит о том, что категории «выигравших» и «проигравших» не охватываются классовыми противоположностями и политическими конфликтными линиями Первого модерна. Если я причисляю к проигравшим от глобализации тех людей, жизненные шансы которых до сих пор были защищены и гарантированы благодаря национальным границам и для которых устранение границ национальных пространств представляет опасность для их социального статуса и угрозу их социальной безопасности, тогда допущение состоит в том, что эта новая конфликтная динамика может утвердиться на различии между рыночно-защищенными секторами, с одной стороны, и рыночно-уязвимыми секторами – с другой. Под международным давлением дерегулирования обостряется противоречие между этими двумя секторами. Решающий момент состоит в том, что это противоречие по меньшей мере частично охватывает классовые противоречия Первого модерна. Например, рабо-

такие в защищенных секторах заинтересованы в сохранении протекционистских мер так же, как и фирмы, на которые они работают. Конечно, старые классовые противоречия потенциально остаются, так как предприниматели в обоих секторах, естественно, стремятся понизить расходы на заработную плату и контролировать работников. Понятно, что ни выигравшие, ни проигравшие не образуют однородных групп внутри национального пространства. К тому же, соотношение выигравших и проигравших варьирует от одного национального контекста к другому. Уже отсюда вытекает, как тяжело политически организовать и социально-научно проанализировать этот новый политический потенциал поверх национально-государственных границ.

– В своих книгах Вы анализируете другой процесс, который подрывает классовую динамику: индивидуализацию. Не упраздняется ли тем самым политическая организация волеобразования? Не противоречит ли это допущению, что мы живем в высокополитическое время?

– Я не думаю, что индивидуализация автоматически должна привести к политической апатии. Скорее «дети свободы» развивают собственное понимание «общности», которое не исключает, а включает самореализацию. Наша организация политического волеобразования – партии, профсоюзы – предполагает, разумеется, определенное понимание коллективности, которое подчиняет индивидуальную самореализацию так называемым «коллективным интересам». Политика, понимаемая как парламентская и правительственная политика, предполагает агрегированные интересы и опять-таки относительно ясную и стабильную (до сих пор понимаемую национально-государственно) социальную структуру, а также соответствующие этому партии и союзы. Понятие интересов, как оно складывается в основаниях политических наук, подразумевает коллективную социальность, которая как раз оспаривается в процессе индивидуализации и глобализации. Тем самым, конечно, ставится вопрос: упраздняет ли динамика Второго модерна социально-структурные предпосылки коллективно-связанных решений государственно-политического действия? Или возникает новая форма политического, которая основана на признании инаковости Другого на основе прав человека? Индивидуализированные констелляции семьи и общности не могут больше определяться и интегрироваться заданными нормами, иерархиями и формами организации. Они скорее должны определяться «рискованной свободой», следовательно, дезинтеграцией. Соответственно, надо поставить вопрос о правовых, политических и экономических «конститутивных нормах» рискованной свободы. Но это больше не связывает и не несет никакого заданного нормативного образца, никакой эссенциалистской дефиниции человека, мужчины, женщины, еврея, негра, мусульманина, корейца или американца. Культура тем самым превращается в эксперимент с целью понять, как мы можем жить вместе как равные и в то же время различные.

Итак, индивидуализированные и глобализованные взаимосвязи жизни и опыта, рассмотренные пока имманентно, ни в коем случае не являются угрожающими призраками, которые в публичных спорах возникают на стенах: утратой ценностей и «Я-манией». Они опасны тем, что им, во-первых, не удастся перевести творческие импульсы множественных жизненных миров в политически-публичные темы и

приоритеты и что, во-вторых, поиск основ индивидуализированных жизненных взаимосвязей теряется в бесконечном регрессе частного, психологического, эзотерического. Следовательно, важно отличать индивидуализацию от атомизации. В последнем случае отсутствуют институциональные предпосылки, чтобы утвердить и обеспечить в этом мире надежность традиций социальных жизненных связей. Можно поставить вопрос иначе: что поддерживает в процессах индивидуализации и глобализации сознание того, что основы собственной жизни могут достигаться и защищаться только в публичном и политическом обмене с другими? Как возможно, что мужчины и женщины, черные и белые, христиане и мусульмане, буддисты и иудеи все же разделяют одну не индивидуалистическую и не эссенциалистскую дефиницию *Conditio humana*? На это, как я полагаю, пока никто ответить не может.

– В мире, где правят нечеткость и амбивалентность, самое трудное – определить, что является нечетким и амбивалентным, так как, по-видимому, именно тест на амбивалентность может быть в действительности внешней формой определенности, и наоборот. По каким критериям Вы определяете, когда речь идет об амбивалентности и поливалентности? Что служит Вам масштабом для сравнения – существует ли нечто однозначное, неподвижное, существенное, что позволяет это сравнение, или это больше соответствующая духу времени интуиция?

Нет, это не интуиция. В нашем научно-исследовательском институте мы работаем над типологией «как, так и» (*Sowohl-als-Auch*), которая должна испытываться и оправдаться в совершенно различных тематических полях. В данном вопросе, как мне кажется, Вы смешиваете Второй, рефлексивный модерн с постмодерном. Второй модерн, в отличие от постмодерна, не предполагает всеобщую амбивалентность. Это приписывание сталкивается с необходимостью найти решения и обозначить ответственность, что и находится в центре теории Второго модерна. В то время как постмодерн утверждает новую открытость и плюрализм границ, рефлексивный модерн настаивает на том, что индивидуальное и институциональное принятие решений предполагает практики размежевания и локализации.

В рефлексивном модерне, следовательно, имеется в распоряжении не только ограниченное пространство вариантов, но эти границы должны сами собой производиться. Чем больше различных и дивергентных ресурсов признано и принято для практик размежевания и локализации, тем более очевидным и при определенных обстоятельствах выраженным признается «как будто» фиктивный характер границ как таковых. Лакмусовой бумажкой рефлексивного модерна – в противоположность постмодерну – можно считать то, в какой мере осознается и признается искусственный характер установления границ, то есть насколько для обращения с фиктивными как-будто-границами институционализируются систематические процедуры.

Предпосылкой является то, что благодаря утрате заданных границ и следующему из нее «легитимному» установлению границ институты приходят в состояние турбулентности. К этой турбулентности можно подойти по меньшей мере двояко – либо пытаться обновить господство старых границ, будь то волевым решением или апелляцией к фундаментальной сущности, либо начать процесс обучения институ-

тов, в ходе которого разрабатываются и осуществляются рефлексивные способы обращения с неуверенностью, неопределенностью.

Одна из причин затруднений в поддержании границ состоит в операциональных последствиях плюрализации и диверсификации знания и соответствующих притязаний рациональности. Границы знания — границы между экспертами и дилетантами, знанием (наукой) и незнанием (ненаукой), наукой и политикой и т. д. — в свою очередь плюрализуются. Окончание споров о характере знания теряет свою самоочевидность. Особенно утвердившиеся науки не могут больше выносить окончательный приговор. С одной стороны, ученые даже вынуждены признать ненадежность оснований, с другой — ученые, преодолевающие границы (по направлению к общественности и политике) могут подорвать и отменить завершение споров. При этом другие, ранее «нелегитимно» действовавшие ресурсы получают новое значение и признание.

Это можно было бы в свою очередь понимать как постмодернистскую ситуацию. Но рефлексивные современные ситуации характеризуются тем, что завершение дебатов происходит эксплицитно, а именно без обращения к авторитету научного знания. Девиз гласит: «Даже если мы не знаем того, что нам следует знать, мы должны решать, или по крайней мере принять решение о том, чего мы не решаем и что мы тогда решаем». Примером этого является правило осторожности при принятии решений в условиях неопределенности: сомневаясь, решать в пользу сомнения. Подобные правила больше нельзя обосновать чисто научно, но можно открыть процесс определения границ правил и методов, которые включают многообразные масштабы рациональности и инстанций. Другими словами, разнообразие научных версий признается точно так же, как разногласия ученых и с учеными в публичной сфере и демократии. Высшая задача науки состоит больше не в том, чтобы замалчивать разногласия, но в том, чтобы публично придать разнообразию силу голоса и тем самым сделать демократию возможной.

— С теорией Второго модерна (рефлексивной модернизации) Вы сами оказываетесь в роли просветителя, а исполнять ее всегда тяжело, поскольку хоть и против воли, исполняющий ее должен претендовать на всезнайство. Опишите, пожалуйста, кратко историю восприятия своей теории — как она воспринималась в Германии и за границей? И — что, наверно, еще важнее — наблюдается ли уже определенное ее воздействие в общественной практике?

— Я очень хорошо понимаю эту проблему. В моей новой книге я набросал методологическую форму обращения, которую я называю «самокритической теорией». Я выступаю за новый космополитизм, но одновременно набрасываю «небольшую надгробную речь у колыбели космополитизма». Мой тезис гласит: большие идеи европейского модерна — национализм, коммунизм, социализм, а также неолиберализм — исчерпаны. Следующая большая идея могла бы быть самокритическим космополитизмом, если бы удалось открыть эту древнюю традицию модерна вызовам XXI столетия.

С этой целью, конечно, должна быть обоснована мечта о космополитическом обновлении политического и государственности. После XX столетия, в котором — как это сформулировал Адорно — стихотворение стало преступлением, так как оно

молчит о столь многих преступлениях, после такого столетия злое, яростное, лживое утверждение «кто говорит человечество — обманет» должно стать методически главным вопросом о непредусмотренных побочных последствиях космополитического режима до того, как он будет установлен.

Во Втором модерне, в эпоху побочных последствий нет размахивающего знаменем обоснования того или этого, но только трудный путь с максимальной критикой собственных утверждений. Так должна действовать новая самокритическая теория. Я продумываю, следовательно, перефразированную мысль Жан-Поля Сартра: адом в космополитический век являемся мы. Итак, я полностью ужоу в это, для большинства совершенно утопическое, даже слепое к реальности, космополитическое рассмотрение мира, чтобы свободно вдохнуть, набрать побольше воздуха и, как уже сказано, произнести небольшую надгробную речь у колыбели космополитического века.

Что касается действия моей теории и исследований о Втором, рефлексивном модерне, то я не могу судить. По крайней мере она обсуждается, причем во всем мире. Мои книги переводятся на 25 языков.

— Один греческий философ сказал по поводу смерти: смерть совсем не интересует меня, так как сейчас я здесь и не умер, а когда наступит смерть, меня здесь больше не будет. Мне часто кажется, что этот афоризм как нельзя лучше передает катастрофическое сознание современных людей: сейчас мы здесь и нет никакой катастрофы, что случится потом, к нам не имеет никакого отношения. Что может теория рефлексивной модернизации противопоставить этому общецивилизационному «*carpe diem*» (лови момент)? Не рискует ли Ваша теория в конечном счете превратиться в новую мораль? Не должны ли Вы также отреагировать на неминуемые моральные последствия, не будет ли она представлять прекрасное, но собственно излишнее требование (Х. Йонас)?

— Нет, с этим я не могу согласиться. Я полагаю, Вы недооцениваете новое катастрофическое сознание цивилизационной самоугрозы — как раз в его политических последствиях. Мой аргумент является, разумеется, эмпирически-социологическим диагнозом времени. В мировом обществе риска и вместе с ним возникает автономный источник всемирно-политической легитимации господства, к которому могут обращаться акторы, — не только государства и политические партии, но также охранительные движения гражданского общества и не в последнюю очередь концерны, — чтобы предотвратить самоугрозу человечества или противодействовать ей. Сила легитимации приобретает здесь совершенно иное измерение, как по происхождению, так и по широте действия. Она основана на том, чтобы встретить опасность, которая угрожает выживанию не отдельных людей, групп или народов, но всего человечества.

Примат вневременного самосохранения является главным благом человечества. Среди всех зол на первом месте находится смерть. Она, разумеется, неотвратима на уровне отдельного человека. Иначе на уровне человечества. Смерть человечества, самоуничтожение всех как возможность человеческого действия, является тем новым, что привнесла цивилизация в мир. Вызванный этим страх может стать основой глобального консенсуса, который создает глобальную власть. То, что эта

власть консенсуса глобального легитимного господства имеет в высшей степени амбивалентные последствия для предотвращения опасности человечества, лежит в природе политического.

Возможное самоубийство человечества никогда не станет добровольной смертью как индивидуальная свободная смерть (из-за отчаяния, боли, одиночества). Это всегда недобровольное «убийство» всех — коллективное убийство как нежелательное побочное следствие научного, технического, военного, политического действия; «убийство», которое следует тем не менее из поступков и ставших самостоятельными систем действий. Не настоящее, но будущее, не фактическое, но возможное событие. Восприятие угрожающего человеческому роду самоубийства открывает доступ к глобальной легитимности и источникам власти консенсуса. Эти источники легитимации глобального господства являются, во-первых, адемократичными, поскольку они уклоняются от любого демократического процесса уже на основе своей глобальности. Конечно, они принуждены к глобальному восприятию и признанию, следовательно, к инсценировкам в масс-медиа. Во-вторых, они также потенциально антидемократичны, так как вместе с воспринятой опасностью для человечества растет готовность избавиться от демократических оков.

Политическая теория суверенитета, созданная Томасом Гоббсом, основывается на формуле *homo homini lupus*, человек человеку волк. Политическая теория общества риска исходит из другого положения: человечество человечеству волк. «Характер хищника», о котором говорит Гоббс, присущ не отдельному человеку, но человечеству в целом. Человечество является субъектом и объектом самоугрозы. Это не национальная «вера в общность» (Макс Вебер), но вера в возможность предотвращения опасности посредством замещающего политического действия для находящегося под угрозой человечества, вера, которая устанавливает легитимность. В этом смысле базовые отношения совместной жизни, включая и сам национально-государственный порядок, попадают под главенство изменчивости, альтернативности, контингентности.

— Как в контексте теории модернизации Вам видится Европейский Союз? Возможно ли в его политических и экономических органах найти отклик необходимости абсолютного изменения взглядов в смысле рефлексивной модернизации? Как вообще возможно в сегодняшних политических кругах, которые живут от выборов к выборам, не нуждаясь в долгосрочной перспективе, добиться внимания?

— Да, я верю, что это возможно, но до сих пор это действительно не произошло. Прежде всего, ЕС, конечно, является замечательным примером рефлексивной модернизации. Даже в своих самых смелых мечтах никто не мог представить, как могла бы возникнуть и возникает фактически Европа жизненных отношений, а именно, с властью побочных последствий. Это, говоря социально-теоретически, есть рефлексивная модернизация европейских национальных обществ, которая производит ту еще неназванную, неизвестную действительность общества «Европа». «Европейское» общественной действительности, возникающее за фасадами продолжающих существовать национальных обществ, это то, что никто не видел и к чему не стремился, и как раз поэтому национально-государственная Европа, Европа отечеств и наций, которая все еще или даже как никогда ранее господствует в головах,

превратилась в то смешивающее границы разнообразие, в то экспериментальное пространство социальных и политических форм и идентичностей, которое понимают под ярлыком «европейский».

Следовательно, страны и авторитеты уже не являются теми, кто все еще изготавливает паспорта и чьи представители ставят свои имена в договорах: Франция, Италия, Голландия, Германия и т. д., во всяком случае, они существуют не в смысле ограниченных, автономных общественных единств, которые соответствуют иллюстрированной книге государственных форм, которую написала и сделала обязательной национальной-государственной эпоха модерна. В европейской динамике, в европейском проекте снимается базовое различие национального и интернационального, как и представление о суверенитете, без которого могла бы возникнуть картина, заслуживающая названия «Соединенные Штаты Европы». Фирменным товарным знаком этой истории Европы побочных следствий является фундаментальная амбивалентность: с одной стороны, в этом выражается хитрость разума, который позволил Европе выйти из густой тени ее полной войн истории и релятивировать ее национальный эгоцентризм. С другой стороны, Европа побочных следствий – это то, что никто не предвидел и на что уполномочивал, но что при этом кардинально меняет жизненные условия людей и поэтому дает право вновь формирующемуся национальному и этническому движению против Европы. Загадочное слово «Европа» относится к неизвестному, постнациональному обществу, в котором мы живем, для которого как такового, конечно, не существует никакого или только рудиментарный политический план, в котором могут противоречиво постигаться и демократически легитимироваться принципы и будущее этого общества.

– Если мы продолжим разговор о ЕС: европейская интеграция также связана с определенными предпосылками в области образования и системой высшего и среднего образования. Сейчас склоняются к тому, что именно образование будет играть решающую роль в рефлексивно-общественной перестройке. Однако учащиеся будут и далее все так же обрабатываться по старому образцу. Как Вы говорите, либо-либо-наука все еще имеет приоритет в образовании и следующее поколение вырастает с представлением, что больше техники, больше роста, больше технологий принесет больше пользы для кумулятивного знания. Считаете ли Вы, что объединенная Европа имеет основополагающее представление о европейском «прототипе образования», который был бы адекватным текущим преобразованиям и растущим угрозам и вынужденным изменениям во всех общественных областях? Смогут ли быть при этом преодолены границы абстрактно теоретического гуманизма свободы слова? Является ли это одним из оснований для совершенствования теории рефлексивной модернизации?

– Рефлексивная модернизация Европы означает: с проектом модернизации «европейская интеграция» – создание европейского рынка, валютного союза и валюты – явно устраняются территориально и национально-государственно созданные формы социального смысла – нация, класс, субсидиарность, которые изначально лежали в основе проекта европейской модернизации. Как это происходит, не является тайной. Внутри Европейского союза 300 законодательных инициатив,

которые как «критерии конвергенции» валютного союза и после Маастрихтского договора (1992 г.) были превращены и превращаются в средство усиления безграничной капиталистической динамики с возрастающей скоростью и свободой. Это непрогнозируемые и неконтролируемые последствия радикализованной, преодолевшей и устраняющей границы динамики модернизации, которая ликвидирует складывавшееся и действовавшее в течение двух столетий, территориально связанное, национальное изложение социального и политического с лежащей в его основе аксиоматикой социально-моральных форм общности. Ваше предположение правильно: само собой разумеется, это должно было ударить по европейским процессам в образовании — уже в смысле собственно европейского интереса. Меня, конечно, занимает также другой мысленный эксперимент. Предположим, что европейская гражданская идентичность конкретизируется в двойном гражданстве для всех, т. е. любой может выбрать, хочет ли он как поляк одновременно быть немцем или французом или чехом и т. д. (что включает участие в выборах, место налогообложения и т. д.). Это принципиально изменило бы многое: политические партии, политическую общественность, общий бюджет, публичные конфликты и т. д. Все приобрело бы благодаря этой новой транснациональности европейскую окраску — кажущаяся не-большой перемена с революционными последствиями.

— У Вас много международных контактов в области социальных наук и мировом социологическом сообществе. Что собственно позитивного приносит эта международная кооперация?

— Она для меня является необходимостью, источником длительного вдохновения. Как можно было бы изолированно в Мюнхене заниматься космополитической социологией?

— Чем является для Вас преподавание в Лондонской школе экономики и политических наук (*London School of Economics and Political Science*)?

— Там я переживаю космополитическое воображение (*cosmopolitan imagination*).

— Вы являетесь автором и редактором многих книг. Какие из них для Вас наиболее важны и почему?

— «Общество риска» — иногда я почти раздражен, насколько это все еще актуально. Затем самая новая книга «Власть и противовласть в глобальный век», — в ней я пытаюсь заложить основы космополитической социальной науки.

— Что Вы думаете о России и о российском обществе в связи с его трансформацией и глобализацией?

— Россия является очень интересным историческим экспериментом. Однако уже в вопросе, какие понятия следует использовать для описания этой структуры, я не уверен. Россия никак не является национальным государством в обычном смысле, как не является и национальным обществом. Тогда что это? Является ли Россия частью Европы? Я говорю — да, но как Вы это видите? Является ли Россия «обществом риска»? В чем преимущество анализа России как общества риска? Что

означает «Второй модерн» для России? Что означает «космополитическая перспектива» для России и российской социологии?

Интервью провел В.В. Козловский

Избранные труды Ульриха Бека

Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1986.

(В русском переводе: Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седелника, Н. Федоровой; общая редакция и послесл. А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2001)

Gegengifte: Die organisierte Unverantwortlichkeit. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1988.

Das ganz normale Chaos der Liebe (mit E. Beck-Gernsheim). Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1990.

Die Erfindung des Politischen: zu einer Theorie reflexiver Modernisierung. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1993.

Reflexive modernization: politics, tradition and aesthetics in the modern social order (with A. Giddens and S. Lash). Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1994.

Eigenes Leben: Ausflüge in die unbekannte Gesellschaft, in der wir leben (mit W. Vossenkühl, U.E. Ziegler; mit Fotos von T. Rautert) / Hrsg. von Bayerische Rückversicherung Aktiengesellschaft. München: Beck, 1995.

Kinder der Freiheit / Hrsg. von U. Beck. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1997.

Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus, Antworten auf Globalisierung. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1997. (В русском переводе: Что такое глобализация? / Пер. с нем. А. Григорьева, В. Седелника; общая редакция и послесл. А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2001)

Perspektiven der Weltgesellschaft / Hrsg. von U. Beck. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1998.

Politik der Globalisierung / Hrsg. von U. Beck. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1998.

Schöne neue Arbeitswelt. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1999.

World Risk Society. Malden, Mass: Polity Press, 1999.

Zukunft von Arbeit und Demokratie / Hrsg. U. Beck. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2000.

Freiheit oder Kapitalismus: Gesellschaft neu denken / Ulrich Beck im Gespräch mit Johannes Willms. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2000.

Modernisierung der Moderne / Hrsg. von U. Beck und W. Bonß. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2001.

Individualization: institutionalized individualism and its social and political consequences (with E. Beck-Gernsheim). London: Thousand Oaks, 2002.

Das Schweigen der Wörter: über Terror und Krieg; Rede vor der Staatsduma Moskau, November 2001. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2002.

Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. Neue weltpolitische Ökonomie. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2002.

Ульрих Бек (Ulrich Beck, 1944 г. р.) — профессор социологии университета г. Мюнхен. С 1997 г. член редколлегии Британского журнала социологии (British Journal of Sociology) и одновременно заведующий кафедрой в Лондонской школе экономики и политических наук (London School of Economics and Political Science). Почетный доктор университета Яскула (Jyväskylä), редактор журнала «Социальный мир» («Soziale Welt»), редактор серии «Издание "Вторая современность"» («Edition Zweite Moderne», Suhrkamp-Verlag). Ответственный за Специальную область исследований-536 «Рефлексивная модернизация» университета г. Мюнхен в Немецком исследовательском обществе.